

Максим Горький

Бывшие люди



*Часть сборника
На дне. Избранное (сборник)*



Максим Горький

Бывшие люди

«Public Domain»

Горький М.

Бывшие люди / М. Горький — «Public Domain»,

«Въезжая улица – это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворешницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел – жалкая флора городских окраин, населенных беднотою...»

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Максим Горький

Бывшие люди

I

Въезжая улица – это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворещницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел – жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора – это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церковей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью, – и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко разворачивается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки – точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид – казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную грудку полугнилых обломков.

Ворота отворены – одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора – низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка – длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась – только с одной стороны – четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок, из барочного днища, тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола – сыростью, от нар – гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, – «просто – жил! И славно жил, черт возьми! Умеючи жил, могу сказать!».

Это был широкоплечий высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен, – поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером – навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

– Что за человек? – спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

– Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

– Всё в порядке. За ночь – две копейки, за неделю – гривенник, за месяц – три гривеника. Ступай и займи себе место, да смотри – не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

– А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

– Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику – хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц, – объяснял Кувалда деловым тоном, – ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать – вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин – значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

– Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

– Здорово. Жив. Говори дальше.

– Не узнали?

– Не узнал.

– А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

– Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

– Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

– Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

– Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

– Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабаке с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

– А вы всё такой же – всё шутите?

– Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

– Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

– Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить, – резонировал ротмистр. – Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья – невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка, вот тебе двугривенный, – иди и принеси косушку водки, на пятак горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

– Приехали! Баста! – говорил ротмистр. – Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив – не покаешься, не покавшись – не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя – скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел перед собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

– Н-ну, друг мой, – критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда, – штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения – верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

– Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? – смущенно осведомлялся клиент.

– Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

– Покорнейше благодарю за ласку! – говорит тронутый клиент. – Экой вы, – добряга! право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... Какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

– Что значит – на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты – ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь – какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно – и то ненадолго – мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол, – Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестяли в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, – можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведаль еще несколько профессий, наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестяли беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

– Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

– Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! – строго предупреждал его ротмистр.

– Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

– Хоть реви – не дам!

– Ну, и – конечно! – вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость – он вполне искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегда-таки ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

– Химик! Ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал – пеняй на себя!

– Его благородие настоящий воин – вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, не выразимым словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

– Не можешь? – угрюмо спрашивал ротмистр. Учитель утвердительно кивал головой.

– Потерпи еще день, – может быть, справишься? – предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга всё трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

– В большинстве случаев бесполезно спорить с роком, – говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети – живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали всё, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему однокласснику, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, как выюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватили за нос. Всё это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по несколько часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь – прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец – мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой «в ремешок», «в три листика», «в банковку» и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

– Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо, желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Обьедок. Он промышлял торгов-

лей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, раструженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищунив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче – он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший всё оживлять и даже в камни влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали – днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

– Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

– Я – босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

– Ты – дурак! – решил Аристид Кувалда. – Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

– Нет, уж я поживу с вами.

– Для чего?

– А так...

– Ах ты – метеор! – сказал ротмистр.

– Вот я ему сейчас зубы вышибу, – предложил Мартьянов.

– А за что? – осведомился парень.

– Так...

– А я возьму камень и по голове вас тресну, – почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

– Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним... Мы все живем без достаточного к тому основания...

– Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас, – посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и всё замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они – «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик-тряпичник Тяпа. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «шаркнули просто так, озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости – голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной – он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

– Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпа хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпа, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпа молча слушал всё, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпа протягивал свою костлявую руку и говорил:

- Дай-ка...
- На что тебе?
- Дай, – может, про нас есть что...
- Про кого это?
- Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побил хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа, – всё, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпа читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая Библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

- Эй ты, чернокнижник, – говорил ему Кувалда, – что ты понимаешь? Брось!
- А что ты понимаешь?
- И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...
- А я читаю...

– Ну и – глуп! – решал ротмистр. – Когда в голове заведутся насекомые – это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли – как же ты будешь жить, старая жаба?

– Мне недолго уж, – говорил спокойно Тяпа.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпа кратко ответил ему:

– В тюрьме...

– Ты был там?

– Был...

– За что?

– Так... Ошибся... Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

– Н-ну? Чем это?

– Вразумляет... Грамоте вот научился... книгу достал... Всё – даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпа уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю, – чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпа сгибал весь свой корпус набок, – долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

– Вот – ты ученый был... Библию-то читал?

– Читал...

– То-то... Помнишь ее?

– Ну – помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

– Помнишь, были там амаликитяне?

– Ну?

– Где они теперь?

– Исчезли, Тяпа, – вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

– А филистимляне?

– И эти тоже...

– Все вымерли?

– Все...

– Так... А мы тоже вымерем?

– Придет время – и мы вымерем, – равнодушно обещал учитель.

– А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

– Врешь ты всё! – захрипел он, когда учитель кончил.

– Почему вру? – изумился тот.

– Какие ты народы назвал? Нет их в Библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

– Из ума ты выживаешь, Тяпа, – убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым грязным пальцем.

– От господ – Адам, от Адама – евреи, значит, все люди от евреев... И мы тоже...

– Ну?

– Татары от Измаила... а он от еврея...

– Да тебе-то чего надо?

– Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

– Был ты ученый... должен знать – кто мы?

– Славяне, Тяпа, – ответил учитель.

– Говори по Библии – там таких нет. Кто мы – вавилоняне, что ли? Или – эдом?

Учитель пустился в критику Библии.

Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

– Погоди, – брось! Значит, в народах, богу известных, – русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так ли? Которые в Библии записаны – господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения, – жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

– Н-не знаю! – протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

– Так и скажи!.. А то говоришь ты много, – будто всё знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь – разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть – врешь ты... он в Библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь, – какой он? Он – огромный... Сколько деревень на земле? Всё народ там живет, – настоящий, большой народ. А ты говоришь – вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амалики-тяне не умерли – они немцы или французы... А ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господя? Кто нас научит?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.